

Ты думаешь, что ты двигаешь,
а это тебя двигают.

Gëte

ПРОЛОГ

• • • **Е**го гнали, как гонят дикого зверя, — по кровавому следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное дыхание преследователей, их азартные голоса:

— Туда, туда! Смотри, вон кровь!
И там, и там!

— Вижу. Ату его!

Эти голоса мешались в помутившемся сознании с криками его убиваемых слуг и этих двух несчастных, мужа и жены, которые лишь по случайности оказались нынче вечером на постоялом дворе — и принуждены были разделить судьбу и смерть с обреченными. Алекс отчего-то не сомневался, что он и его спутники обречены, что нападение было обдуманно заранее, это не просто внезапно вспыхнувшее желание ограбить богатых иностранцев (тем более что и Алекс, и его спутники выглядели весьма скромно) — нет, именно его ждали в этом доме. Недаром проводник тянул время в пути, ну а потом, когда уже затемно прибыли в Лужки, очень старался доказать, что заночевать нужно непременно здесь, а не в первой попавшейся избе.

Впрочем, дома остальных туземцев поражали убожеством, а это было единственное приличное строение: просторное, в два яруса, чистое и опрятное. Да и сама земля здешняя поражала красотой и благолепием, словно Господь был в особенном, просветленном расположении духа, когда созидал ее, и красота эта невольно находила горделивый отклик в сердце Алекса. Впрочем, он вспоминал письма своего будущего патрона и старался охладить себя: ведь это буйное цветение не вечно, лето здесь заканчивается быстро, а на смену приходит зима, настолько свирепая, что даже германские стужи покажутся в сравнении с ней мягкими оттепелями, а уж ветры Атлантики, охлаждающие берега Испании, вовсе почудятся нежными зефирами. Но сейчас до зимы еще было далеко, сейчас стояло лето, все вокруг роскошествовало красками и ароматами, кружило голову, все жило и наслаждалось жизнью! Сама мысль о смерти в такую пору кажется кошунственной, оскорбительной нелепостью, словно застывший в последней ухмылке оскал черепа.

Однако этот жуткий череп смерти уже заглянул в глаза Алекса черными провалами зениц и сейчас, в минуты последнего помрачения, почудился ему пугающе схожим с чертами того человека, которого он убил сам, своими руками, недавно... убил в Испании таким же роковым ударом, как тот, от которого погибнет сам. И особенное, внушающее невыносимую тоску совпадение заключалось именно в том, что первый удар оказался недостаточно меток: истекающей кровью жертве удалось на некоторое время ускользнуть от преследователей и испытать пытку последней, несбывшейся надеждой на спасение, пока его не настигли и не добились.

Его собственные надежды тоже не сбудутся, знал Алекс, его тоже настигнут и добьют — вот сейчас, через мгновение, — но поверить в это было так трудно, так

невозможно, что он невольно воззвал к Господу и Пречистой Деве, и ему показалось, что кто-то чужой бормочет рядом слова молитвы на местном наречии, хотя это он сам вдруг вспомнил полузабытый язык своего детства и невольно выговорил по-русски:

— Господи, помилуй! Матушка Пресвятая Богородица...

Бог был на небесах, его Пречистая Матерь — там же, далеко и высоко, а преследователи — вот они, рядом! Та тьма, которая предстала пред Алексом сплошной путаницей теней, кустов, листьев, была пронцаема их привычным взорам, они не сбивались с пути, видели смятую тяжелыми шагами траву, кровь на этой траве, слышали надсадное дыхание беглеца, и даже стоны, которые он давил в груди, чудилось, были слышимы ими!

Алекс вдруг ощутил, что не силах сделать больше ни шагу, и начал валиться вперед, но наткнулся на какое-то дерево — и удержался на ногах, обхватив его стройный ствол. Прильнул лицом к прохладной шелковистой коре. Это была береза — да, ствол нежно белел в темноте, словно обнаженное стыдливое тело. В последнем проблеске прощания с жизнью Алекс вдруг с болью подумал, что никогда уже не узнает, как это бывает — когда для тебя, для тебя одного мерцает в ночи тело любящей, ждущей, нагой женщины. Не потому не узнает, что это воспрещают его обеты, — просто не успеет. Смерть уже держала его за ворот, уже тащила в свои объятия. Смерть — она ведь тоже женщина, она ревнива, она не упускает добычу...

Не хотелось поворачиваться, и он цеплялся за этот нежный березовый ствол, жался к нему, словно любовник, который прижимается к телу возлюбленной, ловя последние искры летучего наслаждения... И вдруг пронзительный визг раздался за его спиной — такой

внезапный, такой страшный, что Алексу показалось: бездны ада наконец-то разверзлись и все силы тьмы вышли, чтобы отнять его душу. Но тут сердце замерло, сознание покинуло его, он соскользнул по стволу наземь и простерся в высокой траве, запятнанной его кровью. И на белой коре тоже остался кровавый след, словно именно береза была ранена нынешней судьбоносной ночью, — береза, а не человек.

Август 1729 года

— **Д**то еще кто?! — Могучий, ражий и рыжий мужик разглядывал стоящего перед ним парнишку с таким видом, словно не мог поверить своим светлым навывкате глазам. — Спеси в тебе, что в собольем воротнике на боярской шубе!

Ну, если здесь кто-то и казался спесивым, то это сам хозяин с его вольно расправленными плечами (иначе не носить толстого, выпирающего живота), надменно поднятыми бровями и презрительно искривленными губами. Он мог себе позволить такую повадку: первый человек в Лужках, самый крепкий хозяин, к тому же староста. Когда князь-батюшка Алексей Григорьевич Долгорукий наезжает в Лужки — на охоту, скажем, или просто доглядеть свое имущество, он всегда останавливается у Никодима Сажина, не брезгуя его избой, которая, по собственному князьему выражению, более напоминает терем. Чистота, покой, полное удовольствие для хозяина Лужков и самого Никодима. Случается, и другие господа, спешащие в Москву (Лужки стоят хоть и не на самой проезжей дороге, но

все же хорошо с нее видны, так что, если не хочешь ночевать на обочине, свернешь туда), просят у Никодима приюта, и он не отказывает никому. Да вот не далее как две недели назад ночевали у него добрые люди — угрюмый и диковатый иноземец со свитою и еще пара: муж с женою, спешившие в Москву по каким-то своим делам. Хорошие оказались гости, грех Бога гневить...

Никодим с ухмылкой перекрестился, полностью отдавшись своим, только ему понятным мыслям, и недовольно вздрогнул, услышав рядом позвякивание удил: усталый, как и хозяин, конек парнишки встряхнул головой.

Никодим оценивающе оглядел высоконожьего и худенького юнца. Совсем дитяtko, даже и первого пуха на подбородке не narocло! Личико нежное, будто у девчонки, но глаза строги и холодны, словно два сизых озера, уже подернутых ранними осенними заморозками. Встречают, конечно, по одежке, а одет был незнакомец в какой-то нищий кафтанишко и портки с залатанными коленками и хилой веревочной вздержкою, однако именно выражение его глаз заставило Никодима остановиться, взглянуть повнимательнее и даже отвечать, когда неприметный на вид бродяжка вдруг попросился на ночлег к нему, хозяину наилучшего дома в Лужках! При этом единственный знак почтения, который оказал, — шапку сдернул с русоволосой, небрежно стриженной головы. И то не сразу, а несколько погодя, как если бы непривычен он был ломать пред кем-то шапку! И хотя вроде бы просил, но униженным просителем не выглядел. Более того — под взглядом его холодноватых глаз Никодим сам ощутил себя вдруг не то что не первым, а прямо-таки последним человеком в деревне. Таким, бывало, ощущал он себя, когда князь-батюшка готовился наорать на него, а то и отвесить заушину с оплеухою, зуботычин надавать. Поначалу глаза его становились вот так же студены, надменны, неприступ-

ны, словно в одно мгновение он возносился на некие высоты, где раздают людям барского звания права карать и миловать смердов своих.

Вот оно! Вот что насторожило Никодима с первой же минуты в этом странном парнишке. Тот держался надменно, словно имел на это некое право, и его уверенности в себе не могли скрыть убогая одежда и осунувшееся от усталости лицо. Конечно, может статься, что этот кафтанишко, поношенный, однако суконный и хорошего крою, достался ему с плеча какого-нибудь сердобольного барина. И от того же барина перепали и портки — пусть линялые, но не холщовые, домотканые, а саржевые, — и просившие каши сапожки со сбитыми каблуками. Однако выглядел парнишка как человек, привыкший носить хорошую одежду. Он явно тяготился своими обносками. Ну а сбруя его заморенного коняшки была вовсе новая, справная! Это значит... Это значит... Еще не успев толком осознать, какая мысль вылевывается в голове, словно птенец из яйца, Никодим милостиво кивнул:

— Давай вали в избу, так и быть. Нынче я добрый. Нынче тятеньки моего покойного година... об эту пору прошлым летом преставился от грудной жабы!

Он перекрестился и провел согнутым пальцем под сухим глазом, отирая воображаемую слезу.

Стоявший рядом низкорослый и чрезвычайно тщедушный человечек с нелепой, раздутой и в то же время удлинненной, словно семенной огурец, головой, выглядевший рядом со статным, раздобревшим Никодимом какой-то ошибкой природы, в точности повторил его движение и выражение лица. Он, как и хозяин, преотлично знал, что отец его, Митрофан Сажин, тоже староста деревенский, преставился не прошлым летом от грудной жабы, а был насмерть забит в пьяной драке аж двадцать пять лет назад, после чего все Лужки вздохнули свободно... Ненадолго, впрочем, потому что вскоре

начал входить в возраст и силу Никодим Митрофаньч, оказавшийся достойным преемником своего тятеньки! Тем не менее Савушка, шурин, приживал и ближний человек Никодимов, ни словечком не поперечил лгу-щему сроднику, а только нагнал еще больше морщин на свое и без того сморщенное личишко, состроив на нем выражение крайней печали.

Савушка мигом постиг ход Никодимовых мыслей и уже видел, как станут развиваться события дальше. Времена нынче лютые, немилостивые... а когда они не были таковыми на святой Руси, нашей матушке?! Немало разных татей и лиходеев таскается по проселочным дорогам, норовя малость разжиться за счет ближнего своего.

Только очень крепкие господа отваживаются путешествовать в подлинном своем обличье — но непременно внушительным поездом, с многочисленной свитой и под надежной охраной, отпугивающей всякого лесного жителя, от голодного волка до разбойничка. А что касемо народа попроще... Савушка знал, что иные хитрые люди, отваживаясь пуститься в дорогу в одиночестве (мало ли какая нужда человека гнать может?), принимали облик самый что ни на есть неприглядный, дабы не искушать малых сих, жаждущих кровавой поживы. И Савушка готов был поклясться последними волосенками, еще кустившимися на его плешивой головешке, что юнец, смело и прямо стоящий перед Никодимом Митрофаньчем, один из таких достаточных господ, который скрывает свое истинное положение... и содержимое своего кошеля, наверняка припрятанного под складками потертого кафтанишки. Люди шьют широкие пояса с многочисленными кармашками и прячут добро туда. Пояса потом надевают на голое тело, не снимая даже на ночь, так что добраться до червончиков непросто... непросто, но вполне возможно. Надо лишь ухитриться устроить так, чтобы владелец пояса ус-

нул без просыпу. Для умелого человека — плевое дело! И Савушка растянул губы в такой довольненькой улыбочке, что любой приметливый гость при виде ее повернулся бы на пятках и дал такого дёру от этого приманчивого дома и вообще из Лужков...

Но, судя по всему, юнец, просившийся на ночлег к Сажину, не отличался особой приметливостью, и сия плотоядная ухмылочка осталась им не замечена. Он покорно проследовал за Савушкой, который провел его по узкой лесенке в просторную комнату под самой крышей, где под стенками стояли четыре топчана да еще валялись на полу охапки соломы. До этого гость попытался было сам заняться своим конем, расседлать, напоить, почистить, но Савушка кликнул мальчишку с конюшни и поклялся, что скакуна не оставят без заботы, обиходят еще ласковей, чем всадника. Юнец смерил Савушку холодноватым взглядом, и тот обратил внимание, что веки гостя вспухли, а глаза покраснели — наверное, от бессонных ночей и дорожной пыли. «Спать крепче будет!» — довольно подумал Савушка и опять ухмыльнулся.

— Где мне лечь? — спросил гость, оглядывая комнату и пряча руки в рукава великоватого ему кафтана. Савушка заметил, что пальцы его побелели и дрожат.

— Да где понравится, хоть бы вон под той стеночкой, там не дует. А станет холодно, рядниной покройся. Ночи, правда, душные, но я гляжу, тебя знобит. Ужинать будешь? Хлебы нынче пекли, еще горячи. А уж запах сладок... — Савушка, большой любитель горяченького хлебца (пускай с него брюхо пучит, но больно вкусен!), громко сглотнул.

— Не голоден я, благодарствую. Сколько с меня за постой? — спросил гость, неотрывно глядя в окно. Алые закатные отсветы пятнали небо, словно кто-то пробежал по светлой глади, оставив окровавленные следы.

— Хозяин утром сочтет, — отмахнулся Савушка. — Тебя как звать-величать, гость дорогой?

— Данька... Данила то есть, — выговорил парнишка с некоторой запинкой. — Мне бы лечь. Усталъ с ног валит.

— Спи с богом, Данила, — со всей возможной приветливостью пожелал Савушка, окидывая его прощальным взглядом. — Эй, ты где так вывозился? С волком братался, что ли?

Юнец окинул себя суматошным взглядом и проворно стряхнул с кафтана несколько клочков серой шерсти. Исхудалые щеки его слегка порозовели.

— Псина какая-то приبلудилась перед деревней, кинул я ей корку, она на радостях меня всего облизала да измарала, — пояснил он, подходя к окошку и выбросив комочек шерсти во двор.

Савушка удивился. Любой другой швырнул бы мусор на пол, вот и вся недолга. А этот... Ох, правы, судя по всему, окажутся они с Никодимом. Непростой это человек. Загадочный! Но да ничего. У них впереди целая ночь, с лихвой хватит времени все загадки разгадать!

Он вышел, притворив неслышно дверь. Вообще все двери в доме Никодима висели на смазанных петлях и открывались да закрывались совершенно бесшумно. Кто-то скажет, доглядчивый, мол, хозяин. Но...

Ладно, не об том речь.

* * *

Юнец, назвавшийся Данькой, с явным облегчением перевел дух, словно даже дышать не мог в полную силу в присутствии Савушки, а потом провел руками по лицу, будто умываясь. Когда опустил их, стало видно, что он и впрямь «смыл» это свое надменное, равнодушное выражение. Теперь в чертах его отчетливо видны были полудетский страх, отчаяние и растерянность. Он вы-

свободил из рукавов тонкие дрожащие пальцы и стиснул их движением крайнего отчаяния.

— Господи! — прошептал пересохшими губами. — Господи, дай мне силы!

Как страшно сделалось, когда этот уродливый человек вдруг заметил на кафтане шерсть Волчка! Подумаешь, невелика вроде бы беда, собачья шерсть, но ведь на воре, как известно, шапка горит. Даньке почудилось, будто маленькие черненькие глазки прожигают его насквозь, прозревают все его тайные помыслы. Но все же удалось отовратиться... кажется. Ладно, ночь покажет! Ночь даст ответ на все вопросы.

Теперь главное — не уснуть.

Данька присел на топчан — не тот, на который указал Савушка, а прямо под окошко. От обильно пролитых совсем недавно слез до сих пор колотит. Но слезы иссякли, на смену им пришли холодная решимость и ненависть. Она, эта ненависть, будет всю ночь придавать ему бодрость, она даст силы выждать, вымотреть, узнать, понять... отомстить!

Тяжело дыша, Данька привалился головой к подоконнику. Как болят глаза, словно песку в них насыпали. Зажмурился — сразу стало легче. Не заснуть бы... да нет, как можно? Спать нельзя! Он ни за что не уснет!

С этой мыслью Данька провалился в сон так же стремительно, как человек в темном ночном лесу проваливается в ловчую яму, предательски оказавшуюся на пути.

Январь 1727 года

За высокими окнами дворца Прадо сияло солнце, однако ветер дул ледяной. Дворец был настолько пронизан сквозняками, что вполне уместными казались и яркое пламя, играющее в огромном, похожем на дом, камине в королевском кабинете, и отделанная мехами одежда двух господ, стоявших друг против друга.

Один из них — плотный, низкорослый, с высокомерным лицом человека, привыкшего повелевать, — был сам король Испании Филипп V. Его собеседник тоже не отличался высоким ростом, но обладал по-юношески изящным сложением, аристократически маленькими руками и ногами. Трудно было дать этому человеку те тридцать пять лет, которые он прожил на свете. Оливковое, с точеными чертами, лицо его было гладким, губы яркими, в черных волосах и аккуратной, едва заметной, весьма кокетливой бородке не нашлось бы и намека на седину. Правда, мало кто знал, что герцог Иаков де Лириа — а имя и титул его были именно таковы — заботливо вырывает все седые волоски из своих пышных волос, а в дополнение к этому поддерживает их черный, как смоль, цвет с помощью особой краски. Герцог весьма заботился о своей внешности и считался одним из красивейших мужчин при дворе Филиппа. Он знал о своей красоте и, подобно Нарциссу, не уставал ловить взором свое отражение во всех зеркалах, стеклах и витринах книжных шкафов, коими был уставлен королевский кабинет.

Король отлично замечал это и с трудом сдерживал усмешку. Фельдмаршал, камергер, де Лириа был внуком (от внебрачного сына, Фицджеймса) изгнанного из Англии короля Иакова II, умершего в Испании. Католическая церковь считала де Лириа одним из самых верных своих сыновей. Однако кокетливыми повадками фельдмаршал и камергер мог дать фору любой придворной красоте. Пристрастием к высоким, сильным, широкоплечим мужчинам — тоже... Впрочем, король Филипп был монархом мудрым, снисходительным к некоторым маленьким слабостям своих придворных — особенно если эти слабости были присущи столь полезному и умному человеку, как герцог де Лириа. И если раздражение порой начинало закипать в его душе, особенно когда устремленные на собственное отражение глаза де

Лириа становились слишком уж томными, король умело подавлял свои чувства. Ведь ему недолго оставалось терпеть причудливые замашки герцога. Сегодня его величество давал де Лириа прощальную аудиенцию, вручая ему подписанные кредитивные грамоты к русской царице Екатерине, императрице Иберии и Персидских областей. Уже завтра де Лириа предстояло кружным путем, через Италию, выехать в Московию для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей испанского посланника, полномочного министра¹ при русском дворе.

— Первое внимание при исполнении вашего служения должно быть обращено на ваше поведение, — отеческим тоном произнес король, пытаясь перехватить неуловимый взгляд де Лириа. — Ведите себя во всем с таким тактом, с такой скромностью, чтобы вы лично и ваши слуги были образцом для каждого; пусть все служит к вашей похвале, да не будет в вашем поведении ни малейшего повода к вашему осуждению.

Намек был, очевидно, слишком тонок. Де Лириа и бровью не повел, а между тем король был осведомлен о том, что супругу свою герцог оставляет в Мадриде. С ним же в Россию выезжают четверо кавалеров, желающих разделить его одиночество в стране северных варваров, но главное — в составе сотрудников посольства едет Хуан Каскос, секретарь де Лириа. Личность этого господина, по слухам, является предметом постоянных раздоров между герцогом и его супругой...

«А впрочем, бог с ними со всеми, — мысленно отмахнулся король, который не уставал радовать страстную королеву Елизавету Фарнезе, итальянку по происхождению, своим вниманием. — Разве я сторож брату моему?»

И продолжил свои наставления:

¹ В описываемое время дипломатов, особенно посланников, часто называли м и н и с т р а м и (здесь и далее прим. авт.).

— Вы знаете, что такая осторожность уже сама по себе весьма нужна для вашей службы и для исполнения возложенных на вас обязанностей; но она тем более важна при дворах, которые не исповедуют нашей святой религии и где поступки, дела и слова католиков служат предметом внимания и обсуждения. Позаботьтесь жить с вашими домашними без малейшего повода для соблазна и в великом страхе Божиим — это послужит главнейшим шагом к успеху дела.

Блестящие глаза де Лириа приковались к лицу короля, сощурились. О нет, герцог вовсе не был глуп или легкомыслен. И лишь только речь зашла о том, что он действительно считал важным, он сумел напрячь все свое внимание. Ведь король имел сейчас в виду не только и не столько установление хороших отношений с Московией, сколько продвижение на восток католической церкви, успеху чего должен был способствовать де Лириа. Впрочем, в этих вопросах его надлежало проинструктировать архиепископу Амиде, иезуиту и духовнику королевы, ведавшему дипломатической перепиской. Де Лириа тоже был иезуитом, однако предполагалось, что Филиппу сие неизвестно. Поэтому король вновь перешел к разговору о сугубо светских делах:

— Не мешает поддерживать с Московией дружбу и быть с нею в добрых отношениях, особенно при настоящем положении дел. Ведь если бы она пристала к государствам, оставшимся недовольными трактатом мира, заключенным в Вене 30 апреля 1725 года, например к Англии или Швеции, то дала бы громаднейший перевес их союзу и их намерениям, во вред интересам моим и моих союзников, присоединившихся к сказанному трактату.

Теперь де Лириа окончательно перестал шнырять глазами в поисках своего привлекательного отражения и слушал очень внимательно. Эти слова короля были для него чрезвычайно интересны, ибо речь шла и о его

собственном будущем. Ему было приказано заключить прямой торговый трактат между Испанией и Россией на тех же условиях, на которых он был заключен между Россией и Австрией. Король ожидал скорого разрыва своих отношений с Англией и приказал своим послам смотреть в этом случае на Россию как на лучшего друга и помощника. Герцогу де Лириа предписывалось всеми способами воздействовать на русскую императрицу, чтобы она завела сильный флот в Архангельске, откуда может совершить диверсию в Англию для возвращения престола королю Иакову III Стюарту и для восстановления равновесия в Европе.

Де Лириа, как близкий родственник Иакова, радея за него, радел и о собственных интересах. Россия католическая, Россия — союзница Испании, Россия, возвращающая английский трон претенденту... Ради этого стоило заживо похоронить себя в сугробах! Ради этого английскому дворянину королевского происхождения и испанскому дону стоило склонить гордую спину перед императрицей варварской страны, перед этой женщиной, репутация которой заслуживает не то что всяческого осуждения, но даже осмеяния!

С другой стороны... Во всех делах всегда имеется другая сторона.

Как ни равнодушен был Петр Первый к православной вере, как ни заигрывал с лютеранами и даже с масонами (по слухам, он был принят в ложу самим Кристофером Реном, строителем храма Святого Павла в Лондоне!), он все же не терпел прямого вмешательства чуждых конфессий в дела собственного государства. Тем паче вмешательства иезуитов — тех самых, которые оказывали покровительство царевичу Алексею во время его скитаний по Европе и даже пытались спрятать его от праведного отцовского гнева. Затем они решили оказать покровительство самому вероятному наследнику русского престола — сыну Алексея, царевичу

Петру. Посредничество в этом они надеялись сыскать у императрицы Екатерины. Бывшая Марта Скавронская (именно так звали мариенбургскую пленницу, прихоть судьбы оказавшуюся на русском троне) лишь недавно обрела утешение в греческой вере и не больно-то ценила ее... вдобавок брала пример с супруга-атеиста! Капуцин Петр Хризологиус, объявившийся в Петербурге, привез русской государыне привет от римской императрицы — неслыханная честь для этой выскочки! Чтобы считать себя равной с потомственными царями, Екатерина готова была на все и весьма благосклонно отнеслась к просьбе Хризологиуса устроить ему аудиенцию у малолетнего великого князя Петра Алексеевича, возможного наследника русского престола. Однако происки Хризологиуса сделались известны Синоду, а потом и императору. Хризологиус незамедлительно был выслан из Петербурга, а Екатерина, пытавшаяся его защищать, вынуждена была притихнуть. Ей потребовалось немалое время, чтобы восстановить мирные отношения с мужем. Теперь Петр в могиле, на престоле Екатерина. Если повести дело умно, ситуация может сложиться самая благоприятная! Самое время для проникновения ордена в Россию!

Де Лириа в волнении потер сухие, изящные пальцы. Самые честолюбивые надежды оживали в нем...

Август 1729 года

...Вдали лайл, надрывался Волчок. Данька вскинул голову и первые мгновения никак не мог понять, где он находится, почему ломит все тело, почему заходится в рычаниях пес.

Луна смотрела в окно, жадно вглядывалась в Данькины еще незрячие после глубокого сна, затуманенные глаза. Он вспомнил пугающе-красивый, кровавый за-

кат... откуда вдруг взялась ночь, ведь еще минуту назад был вечер?!

Постепенно дошло, что минута сия давно миновала. Лай Волчка всего лишь снится, потому что Данька позорно уснул, сидя под окошком! А ведь намеревался караулить, стеречь, выслеживать. Он хотел обшарить всю эту мерзкую комнатку, ставшую последним пристанищем его родителям, может быть, отыскать хоть какой-то их след, памятку какую-то... А теперь разве отыщешь — в темнотище? Да и времени больше нет. Проспал, проспал! Каков, а? Вполне заслужил того, чтобы его просто полоснули легонько ножичком по горлу — он так и не проснулся бы.

Нет, уберег Господь. Данька, еще когда из дому в путь отправился, знал, что именно Господь его наставил на путь, помог найти Волчка, направил на нужную дорогу, вывел на след убийц. А теперь он же, Господь, не дал заспать Даньке его собственную погибель, словно в ухо шепнул: «Берегись, Данюша!» И он проснулся — как раз вовремя, чтобы услышать шорохи на лестнице.

Шаги... Двое идут. Один чуть слышно ступает впереди, другой тяжело переваливается на несколько ступеней ниже.

Впереди, конечно, крадется этот тщедушный мужичонка с головенкой огурцом — экая погань, глазам смотреть противно! В руках у него небось острый ножичек, друг-разбойничек, кровопийца записной, ночных дел мастер. Следом за слугой топает хозяин, в руках у него, наверное, топор или вовсе колун полупудовый. Этот бьет, не разбирая, по головам строптивцев, не пожелавших помирать после первого ножевого тычка.

Данька стиснул зубы, вскочил. О чем он? На что время тратит? Так и досидится до беды! Вспомнилось, как еще вчера, лежа в обнимку с полуживым от горя Волчком на небрежно насыпанном земляном холмике, меч-

тал об одном: умереть вот здесь, вот сейчас, потому что пережить страшное открытие, перетерпеть боль в сердце казалось невозможным. Но удалось скрепиться: хотел увидеть их, посмотреть им в глаза, обнаружить их повадки. Увидел, посмотрел, обнаружил. Убедился: именно здесь, в этой комнатухе под крышей, находят свой конец те ночевальщики, которые покажутся хозяевам богатой добычей. Потом трупы зарывают в лесу как попало, не боясь кары ни людской, ни Господней. Ну, такие лютые лиходеи всегда уверены, что в минуты совершаемых ими злодейств Господь отводит взор. А вот что они не боятся людского суда... не значит ли сие, что есть над ними кто-то могущественный, на чье прикрытие в случае чего и надеются злодеи?

«Чьи вы?» — спросил вчера Данька у какой-то бабульки, встреченной за околицей, но так и не добился ответа, чья это вотчина. То ли бабка уже плохо соображала от прожитых лет, то ли не хотела ничего говорить, потому и притворялась полуглухой и косноязычной. Только и удалось узнать, что денежные проезжие останавливаются обычно в доме у старосты. Туда и ринулся Данька со всех ног... а теперь, похоже, пора с той же скоростью ноги отсюда уносить. Вряд ли к нему среди ночи идут только для того, дабы осведомиться, что гостю дороговому будет угодно откусать на завтрак. Его идут убивать, нет сомнения. Как убивали других... не раз.

Данька выглянул в окошко. Ничего, спрыгнет — ног не переломает. И не с таких высот прыгали! Главное — потом перебежать незаметно двор, залитый лунным светом. Где-то перебрехиваются собаки... спускают ли их на ночь? Волчок бы дал им жару, но Волчка пришлось привязать к дереву на лесной опушке, иначе Даньке нипочем бы не отвязаться от него. Умнейший пес понял дерзкие намерения хозяина и почуял ту

опасность, которая кроется за таким безрассудством. Но чего мог он добиться своим истошным воем и жалобным, надрывным лаем? Даже если бы кто-то всеведущий и знающий, чему вперед быть, в это мгновение предупредил Даньку, что непременно прольется его кровь в комнатке под крышей, это его все равно не остановило бы. Боль и горе настолько помutilи его разум, что он словно не в себе был тогда...

Правда, что не в себе! Разве можно было притащиться в это змеиное гнездо, ведя в поводу коня? Теперь Рыжак стоит расседлан в хозяйской конюшне, куда нипочем не пробраться. Все, можно проститься с конем... а как Данька дальше пойдет? Ведь до Москвы, где он надеется найти защиту и правду, еще много верст пути! Донесут ли ноги?

Но тут снова ожгло его мыслью, что ноги донесут куда угодно, если на плечах голова останется. А ему сейчас с минуты на минуту грозит с этой головою проститься навеки. Вот скрипнуло уже не на лестнице, а под самым порогом, вот уже тихо-тихохонько дверь начала отходить от косяка...

Данька оперся одной рукой о подоконник — и прыгнул в лунный свет, как в воду. Ох уж этот лунный свет...

Пока летел — больно долго! — просвистело (словно ветер в ушах) в памяти воспоминание, как уронил однажды с бережка в прозрачную воду что-то, теперь уж и не вспомнить, может быть, грузило, прыгнул за ним, думая, что дно с игрою солнечных зайчиков на песочке — вот оно, а канул в чистую, опасную глубину с головкой, ручками и ножками и едва не захлебнулся от неожиданности. Предательскую шутку сыграл с ним тогда солнечный свет — а теперь ту же шутку сыграл и лунный, исказив высоту. Данька так ударился ногами, что не удержался от крика и повалился на колени, на какой-то жуткий миг уверясь, что больше

не встанет, что его придавят вот тут, на плотно убитой земле двора, как давят майского жука, на полном лёте налетевшего на стену и упавшего, одурев от удара, наземь...

Потом он ощутил, что ноги повинуются, кое-как поднялся и побежал, прихрамывая, к забору. А сверху уже заблажил высунувшийся в окно гнилозубый:

— Держи вора!

Самое страшное, самое побудительное на Руси — крикнуть вслед бегущему, мол, лови-держи-хватай. В погоню ударяются все, кому надо и не надо. Почудилось, даже темнота у крыльца зашевелилась алчно, вытягивая в сторону Даньки свои ступки, готовая схватить. А сейчас проснутся работники, слуги... И минуты не пройдет, как схватят!

Данька всем телом ударился в забор — высокий, плотный, доска к доске, — зашарил по нему, выискивая калитку. Вот ворота. Заложены на тяжеленный брус — трем богатырям не поднять! Вот и калитка... на замок заперта, замок цепью обвит, ну а ключ небось запрятан подальше, чем Кошьева смерть.

С крыльца уже сыпались темные фигуры, разводили руками, хлопали ладонями, словно пытались кур ловить... Не сразу Данька смекнул: да ведь преследователи не видят его в густой, непроницаемой тени! Он для них незрим, им кажется, что беглец растворился в ночи. Какое-то время пройдет, прежде чем поймут: никуда он не ускользнул, а просто затаился. Хоть миг, да есть, чтобы попытаться спастись.

Данька начал осторожно передвигаться вправо, пытаясь под прикрытием забора обойти дом. Может быть, там еще нет народу, может, удастся найти лазейку и выскользнуть из этой западни, которую он сам себе устроил? Какое-то время его маневры проходили успешно, однако вдруг сиповатый голосишко Савушки перекрыл поднявшийся вокруг шум и гам:

— Вон он! К конюшне метит! Держи!

Ух ты, Данька и не знал, что конюшня, а значит, и Рыжик были так близко... Эта мысль мелькнула и исчезла, он снова заметался туда-сюда — слепо, отчаянно, а топот преследователей был уже совсем рядом. Данька с силой ударился спиной в ограду, словно надеялся каким-то чудом пробить в ней дыру, и...

И чудо произошло. Что-то хряпнуло за спиной, доска подалась, Данька суматошно завозился, пытаюсь протиснуться сквозь неширокую щель, — и сердце его зашлось, когда он ощутил чьи-то руки, цепко тянущие вон из двора, к свободе и спасению.

Казалось, лез он бесконечно долго, а минуло небось какое-то мгновение ока. Данька встряхнулся, дико воззрился на своего спасителя — вернее, спасительницу, ибо это была девка.

Луна серебрилась в небрежно заплетенных косах, волосы у нее небось соломенные, светлые. Большие глаза тоже полны лунного света, и не поймешь, то ли черные они, то ли голубые. Взволнованно дышат пухлые губы. Простенький сарафанчик перехвачен под высокой грудью, ворот рубахи расстегнут, шею охватили бусы из недозрелой боярки, Данькины младшие сестрички точь-в-точь такие низали себе, обвивали ими тоненькие детские шейки в несколько рядов и бежали показаться матери...

Данька вздрогнул от боли в сердце, от вернувшегося страха, дернулся было — бежать, но девушка перехватила за руку:

— Сдурел — на деревню подаваться? Перехватят! За мной давай!

Повернулась, подобрала подол — и понеслась, так проворно перебирая босыми, до колен заголившимися ногами, что Данька насилу поспевал за ней.

Спасительница свернула в проулочек меж двух заборов, вихрем метнулась в другой порядок изб, потом повернула вправо, огибая уличный колодец, и вдруг точно сквозь землю провалилась. Данька не сразу сообразил, что девушка спрыгнула с обрывчика и скрылась в перелеске, примыкавшем к деревне. Подался туда же. Остро запахло зрелой, влажной зеленью. Серебристые ноги стремительно мелькали впереди, а темный сарафан сливался с тьмой, царившей среди плотно стоящих стволов. Даньке даже жутковато вдруг сделалось: а путная ли девка его ведет неведомо куда? Сведущие люди сказывали: на помощь людям порою являлись лесные русалки и, якобы спасая, затаскивали бедолаг в такие дебри дремучие, что потом и концов пропавшего человека найти не могли. Залюбливали лихие девки до смерти! Конечно, русалки предпочитают «спасать» крепких молодых мужиков, желательно красавцев. С Даньки в этом смысле вряд ли будет прок: первое дело, по младости лет, второе — красавцем его вряд ли назовешь, ну а третье...

Он не успел додумать. Девка резко обернулась, блеснула глазами:

— Все! Пришли!

И, низко нагнувшись, нырнула под нависшие ветви. Данька последовал за ней. Тут уж царила вовсе крошечная тьма, но горячая рука вцепилась в его запястье, потянула, указывая направление, выдохнула с усилием:

— Теперь не найдут!

Данька тоже жадно глотал воздух, пытаясь различить запахи. Сначала он ничего не видел, только нюхом чуял. Пахло кисло — сыростью, почему-то ржаным несвежим хлебом и, такое ощущение, прокисшей кашей. Вообще дух был неприятный, тревожный, Данька никак не мог понять, что в нем такое, но вдруг осенило: да ведь здесь

пахнет кровью! Застарелый кровавый запах — вот что властвует над всем!

Страх, который развеялся было с ветром стремительного бегства, вернулся, снова зашарил ледяными пальцами по шее и спине.

Постепенно глаза начинали видеть. Данька понял, что стоит в каком-то балагане — вроде бы дощатом, потолок настолько низок, что и он, и девушка только-только не касались его макушками. Почти вплотную к Даньке стояли стол и лавка, а чуть поодаль — топчан, на который причудливой кучей было навалено какое-то тряпье. Больше ничего рассмотреть он не успел: девка приблизилась и вдруг так толкнула в грудь, что Данька, вскрикнув от боли, полетел на лавку. Сильно ударился спиной, но это было еще полбеды. Гораздо хуже, что девка внезапно рухнула на него, навалилась всем весом и, уткнув в его губы влажный, тяжело дышащий рот, зашарила жадными руками по его бедрам, пытаясь развязать вздержку штанов.

Господи! Так и есть — русалка-любодеица...

В первый миг и дыхание Данькино пресекалось, и ума он лишился, и сердчишко замерло, а девкины проворные руки так и лезли ему между ног, искали там чего-то... Данька чудом вывернулся из-под горячего тела, сверзился с лавки на земляной пол, привскочил, кинулся было в сторону, но девка оказалась проворнее: цапнула за подол рубахи — так кошка ленивой лапкой ловит мышонка, из последних сил попытавшегося дать деру. Данька рванулся, споткнулся, со всего маху ударился о топчан — и обмер, когда куча тряпья вдруг зашевелилась, застонала, потом раздался некий невообразимый звук, вроде бы кто-то хрипло, задавленно рассмеялся, а потом негромкий, донельзя измученный голос произнес, странно, твердо выговаривая звуки:

— Ну, нашла наконец себе новую забаву?

Батюшки-светы! Да это никакое не тряпье, разглядел Данька, это человек лежит, распростершись, раскинув руки и ноги, накрепко привязанные к топчану!

— Терпите, сеньор, терпите! Теперь ваш черед терпеть эту дикую тва-арь... — продолжил незнакомец, но тут же его голос пресекся стоном.

Данька наклонился, пытаясь разглядеть лицо этого человека, но в это мгновение получил увесистый удар по затылку и, лишившись сознания, беспомощно сполз наземь. Он уже не чувствовал, как ему заломили за спину руки, связали их каким-то грубым жгутом, потом опутали ноги и оставили валяться, скрючившись. Он не слышал, как девка, странно, утробно похохатывая, подошла к топчану и проворно забралась на него, не слышал надсадного дыхания, мучительных стонов и яростных, исполненных ненависти выкриков:

— Чертовка! Оставь меня! Изыди, сатана! Да будь ты проклята!

Июнь 1727 года

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ ГЕРЦОГА ДЕ ЛИРИА
АРХИЕПИСКОПУ АМИДЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

«Ваше преосвященство, примите мои первые выводы: в Московии вовсе не нужен посланник: говорю не потому, что я не хочу тут жить, но бесполезен расход, который для этого делается королем нашим и государем. Московия нам нужна только в войне с англичанами. В этом случае москвиты не только могут доставить нам громаднейшую помощь диверсией, какую они смогут сделать в Германии и, следовательно, отвлечь с этой стороны наибольшую силу наших врагов, но они также достаточно сильны в случае нужды перенести войну внутрь самой Англии. Но во время мира союз их бесполезен; годится разве только относитель-

но торговли, из которой мы можем извлечь большие выгоды.

Есть еще другой повод считать бесполезным иметь теперь посланника в Петербурге — это перемена правительства. Оно попало теперь в руки москвитов, между которыми есть еще много таких, которые держатся старых обычаев, и есть такие, которые решительно осуждают всякий союз с нашей монархией, потому что считают его для себя совершенно бесполезным по причине отдаленности нашей Испании и думают, что им нужно быть в хороших отношениях только с англичанами, коих морская сила имеет громадное преимущество перед их силою. Противоположного мнения держится только князь Меншиков.

Не мешало бы довести до сведения короля нашего государя, какие идеи одушевляют этого министра. Этот человек — величайший честолюбец, какого только видел мир. Нельзя сказать, что в своем счастье он ходит ощупью — нет, он умеет вести дела: в несколько лет из ничего и из низкого состояния он сделался первым подданным Московитской монархии, князем Империи и богатейшим вассалом по всей Европе. Но этим счастьем его честолюбие не удовлетворилось. Вы, конечно, знаете, как он добивался быть избранным в герцоги Курляндии. Хотя это ему не удалось, он все-таки не отказался еще от этой мысли. Главная же цель его — выдать свою старшую дочь Марию за малолетнего русского царя, а самому сделаться королем Польши, и потому он расчищает себе дорогу на случай смерти короля Августа. По этой, собственно, причине он так предан австрийскому императору.

В России Меншиков теперь заправляет всеми делами. Но еще при жизни царицы были некоторые возмущения против него; нужно ждать, что в несовершеннолетие настоящего царя они увеличатся, потому что бес-

численное множество личностей не любят Меншикова, желают его падения и гибели. Все это не мешает передать королю нашему государю, решениям которого я готов повиноваться слепо и с крайним самоотвержением».

Август 1729 года

Данька очнулся оттого, что затекло и ныло все тело. Едва смог повернуться, открыть глаза, сперва не понимая, где и почему валяется, скрючившись. Как вчера лежал на могиле родителей, прожигая землю мучительными слезами, — это вспомнилось сразу. А что было потом? Голова болела, в висках перестукивало, мешало думать. Приподнялся — и дыхание пресеклось, когда обнаружил, что связан. Вот тут-то вспомнилось остальное — почему-то в обратном порядке: от удара по голове в этом дурном балагане до блужданий вокруг Лужков в поисках следа убийц.

Опасливо огляделся. Либо он провалялся без памяти сутки, либо все еще длилась та же ночь. Темно по-прежнему. А человек, который лежал на топчане, что с ним, жив ли он?

Данька кое-как сел: мешало, что руки и ноги были связаны, — и снова чуть не упал, когда прямо напротив его глаз вдруг замерцали два лихорадочно блестящих глаза. Словно дикий зверь глянул в упор из темноты! Данька отпрянул — до того жутко ему стало.

— Меня бояться не стоит, сеньор, — чуть слышно проговорил лежавший на топчане человек. — Я такой же пленник этой суки, как и вы.

Данька мимолетно поджал губы: грубостей он не терпел, особенно по отношению к женщинам. Затем вспомнил ту, о ком шла речь, и зло подумал, что это самое подходящее для нее название! Еще и похлеще сказать можно!

Однако как же странно выговаривает слова этот человек! Вроде бы и чисто по-русски, а словно бы легкий ветерок пролетает меж словами. Иноземец, что ли? И это диковинное словечко — сеньор... Что оно означает? Может, незнакомец думает, что Даньку так зовут? Может, он принимает Даньку за кого-то другого?

— Как вы умудрились угодить к ней в лапы? — продолжал незнакомец. — Неужели очаровались ее прелестями?

— Да я ее небось и не разглядел толком-то, — буркнул Данька, вспоминая, как серебрились под лунной растрепанные косы, мелькали ноги под высоко поднятым сарафаном. — Она мне жизнь спасла — сначала. А потом заманила сюда. Я думал, спрятать хочет...

— Я тоже когда-то так думал, — пробормотал незнакомец рассеянно, как вдруг встрепенулся: — Жизнь спасла, говорите? Похоже, это вошло в привычку у нашей безумной сластолюбивы! И как же это произошло, если не секрет? Где?

— Здесь, в деревне, где же еще, — неохотно буркнул Данька. — Я остановился на ночлег в одном доме, ночью на меня напали, ну, я спрыгнул во двор, а там куча народу навалилась, я бежать; думал, уже конец мне, да тут эта девка откуда ни возьмись, завела в какие-то заросли, потом сюда, ну и вот...

Он нарочно частил, избегая подробностей, однако незнакомец, кажется, обладал умением слышать недосказанное:

— Во имя неба! Неужели и вы стали жертвой толстого, рыжеволосого туземца и его приспешника, обладателя головы, которая напоминает приплюснутую дыню?!

— Огурец, — возразил Данька. — С толстой, потрепавшейся кожей, уже перезрелый и сморщившийся.

Незнакомец некоторое время размышлял, потом слабо усмехнулся:

— Вы правы! Как огородник вы, конечно, более опытные, сеньор... Кстати, может быть, мы забудем об условностях, согласно которым два идадьго должны быть представлены друг другу неким высокочтимым патроном, и, применяясь к нашим необычным обстоятельствам, представимся друг другу сами? Это не очень претит вам, сударь?

Строй речи этого человека, самый звук голоса необычайно нравились Даньке. Эх, если бы и он мог выражаться столь же изысканно и витиевато! Должно быть, перед ним человек благородного происхождения, какой-нибудь родовитый иноземный боярин, попавший в опасную переделку. Каковы же причины этого? Ну, каковы бы они ни были, они не ужаснее тех, из-за которых оказался в Лужках Данька...

Стоило подумать об этом, как слезы начали наплывать на глаза. Горло стеснилось, и Данька сказал хриплым голосом:

— Вы, что ли, имя мое знать хотите? Данилой меня зовут, Данилой Ворониным, а попросту кличут Данькою.

— Простите, вы забыли упомянуть свой титул, — негромко напомнил незнакомец, но Данька упрямо мотнул головой:

— А нету у меня никакого титула. Матушка была из Долгоруких-князей, но вышла за батюшку, а он хоть и дворянского звания, но не князь и не граф, зато жили они весь свой век дай бог каждому, в любви великой и согласии, и в жизни не разлучались ни на день, и смерть вместе встретили.

И все, и тут вся его выдержка, скрепленная пролитыми на убогом могильном холмике слезами, но давшая трещину в комнатеке под крышей и потом, во время страшного бегства, наконец-то рассыпалась на мелкие кусочки. Слезы хлынули так обильно, так внезапно, что Данька даже не сразу понял, отчего у него вдруг сдела-

лось мокрое лицо и все расплылось в глазах. А потом пришли тяжелые рыдания, от которых, чудилось, вот-вот разорвется и сердце, и горло.

Он уронил голову на край сенника, на котором лежал незнакомец, и без стеснения рыдал. С мучительными усилиями выталкивая из себя хриплые звуки, снова и снова он вспоминал лицо матушки и улыбку отца, и то, как они смотрели друг на друга и на детей, и теплое дыхание матери на своих волосах вспоминал, и шепоток ее, когда приходила поцеловать на ночь: «Ох, Данька, Данюшка, вот четверо вас у меня, все мне равно родные, всех поровну любить следует, а все же тебя, дитятко, пуще всех люблю, зайчик ты мой солнечный!» Почему-то сейчас подумалось, что, наверное, то же самое она нашептывала каждому из них, четверых детей, ревниво деливших меж собой любовь и заботу родительскую. Матушка никого не хотела обделить, она и впрямь любила всех их поровну, а Данька-то всю жизнь думал... И от этого запоздалого открытия, не имевшего теперь ни для него, ни для убитой матушки никакого значения, Даньке отчего-то было еще больнее, еще сильнее теснилось сердце, еще горше лились слезы.

Но постепенно слезы иссякли, на смену им пришла оцепеняющая усталость. Он уткнулся в топчан и тяжело вздыхал, пытаясь успокоиться.

Вдруг ощутил на своей щеке теплое дыхание. Незнакомец прильнул к его лбу своим. Данька вспомнил, что руки его тоже связаны: наверное, он хотел бы успокаивающе погладить плачущего юнца по голове, как всегда гладят маленьких детей, но не мог, вот и ерошил своим дыханием его волосы.

— Успокойтесь, мой юный друг, успокойтесь, — прошептал он. — Вы еще совсем дитя, а выпало вам, судя по всему, столько, что и не каждому взрослому выдержать. Циники уверяют, что человеку по-настоящему плохо не тогда, когда у него беда, а когда у его ближнего

все хорошо. Если вы циничны, вас должно успокоить, что мир перенасыщен бедами и несчастьями, и один из таких несчастных находится рядом с вами. Если вы милосердны, вы найдете утешение в исцелении страданий другого человека, ибо за те несколько недель, которые минули со времени моего въезда в эту проклятую богом деревню, я хлебнул столько мучений, что, да простит меня Господь, не раз помышлял о смерти и даже малодушно призывал ее. Поверьте, я оказался настолько слаб, что не замедлил бы сам развязаться с жизнью, когда бы у меня не были связаны руки. Простите за невольный каламбур. — Незнакомец невесело усмехнулся. — Поверите ли, но, чудится, меньшую боль и страдания доставляла мне рана, чем ежедневное, еженощное надругательство, которым подвергала меня эта распутная тварь. Она вынуждала меня нарушить обеты, данные Отцу нашему небесному, она окунула меня в бездны таких нечистот, о каких я даже и не подозревал. И хотя я беспрестанно разочаровывал ее стойкостью своего духа и силою своих очистительных, охранительных молитв, хотя ее тело вызывало во мне только отвращение, хотя я знаю, что и под страхом смерти не заставил бы свое естество откликнуться на ее грязные призывы, но все же... ощущение ее немытого тела, которое терлось об меня, ее рук, которые мяли мою спящую плоть, вынуждая к соитию, ее слюнявых губ... все это истерзало меня пуще пыток, которым некогда подвергали христианских мучеников язычники Юстиниана, все это вынудило меня пребывать в уверенности, будто я свершил все семь смертных грехов враз!

Голос ему изменил. Какое-то время царило молчание. Незнакомец пытался успокоиться, а Данька — переварить услышанное. Пища для ума оказалась настолько скоромной, что бедолагу аж замутило.

— Простите, сударь, — наконец-то справился с собой его собеседник. — Вы так юны, неопытны, невин-

ны, а я, не подумав, вылил на вашу голову ушат тех же помоев, в которых принужден был купаться сам. Простите великодушно! Тем паче что все эти унижения, все страдания мои телесные, даже боль от раны, конечно, ничто в сравнении с муками душевными. Не было ночи, чтобы не являлись ко мне призраки людей, погибших по моей вине... О нет, я не душегуб какой-нибудь, руки мои если и обгарены кровью, то отнюдь не по локоть, а так, слегка забрызганы, и то, можете мне поверить, лишь *ad maiorem dei gloriam*... я хочу сказать, для вящей славы Божией, как выражаются богословы, то есть в благих целях. Те несчастные, о которых я упомянул, были моими слугами. Нас хотели убить всех, я спасся поистине чудом. А те, кто верил мне, кто служил мне беззаветно и преданно, погибли, и, получилось, я стал виновником их гибели. Но все же они знали, сколь рискованна и опасна наша стезя, они всегда готовы были отдать свои жизни ради... ради нашего дела. А те двое несчастных, муж и жена, которых безжалостно прирезали у меня на глазах только потому, что надеялись поживиться их добром?! Нас и их убивали, чтобы ограбить, гнусно обобрать мертвые тела... Что с вами? — насторожился незнакомец, ощутив, что Данька вдруг вздрогнул всем телом, а потом замер, чудилось, и дышать перестал. — Что с вами, молодой сеньор? — Он умолк, а потом проговорил растерянно, пугаясь своей догадки: — Может ли стать... Господи, я только сейчас осознал... Неужели те супруги были вашими родителями?!

Незнакомец смотрел на Даньку испуганно, ожидая нового взрыва горя, нового всплеска рыданий, однако тот сидел понуро, слишком обессиленный страшными открытиями.

— Да, — выдавил он наконец. — Наверное, это были они. У матушки глаза голубые...

— Бирюзовые, — вздохнул незнакомец. — Редкостной голубизны. А у ее супруга был шрам на щеке.

— Был, — кивнул Данька. — Почти двадцать лет тому назад получил он сию рану в деле под Батурином, бок о бок со светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым сражаясь против предательского гетмана Мазепы...

И умолк, чтобы снова не разрыдаться.

— Да, — хрипло проронил незнакомец. — Нам есть за что мстить, причем мстить сообща. Вот вам моя рука... о, раны Христовы, я ведь связан, да и вы тоже! Однако я так и не назвался, сеньор Даниил. Имя мое дон Хорхе Сан-Педро Монтойя.

— Так и есть, иноземец! — не удержался Данька от изумленного восклицания. — Однако батюшка сказывал, будто все иноземцы говорят на каких-то тарабарских наречиях. Где же вы так ловко по-нашему говорить наострились?

— Это очень диковинная история, мой юный друг, — ответил дон Хорхе. — Я бы сказал, неправдоподобная... Возможно, если Господь наш и его Пресвятая Мать будут к нам милосердны и попустят нас остаться в живых, я поведаю вам ее. Но сейчас следует подумать о другом. Ежели мы желаем свершить отмщение, надобно как минимум иметь свободные руки! Попытаемся развязать наши путы и бежать отсюда прочь. Вы согласны?

— Согласен-то я согласен, — пробормотал Данька. — Тут и спору никакого быть не может. Однако как же быть, коли и у вас, и у меня руки связаны?

— Ну, рты у нас, благодарение богу, не заткнуты, — хмыкнул дон Хорхе. — Давайте-ка, молодой сеньор, повернитесь ко мне спиной и подставьте ваши руки к моим зубам. Заранее прошу прощения, если нечаянно укушу.

— Кусайте на здоровье, — сказал Данька, досадуя, что сам не додумался до такого простого способа избав-

ления от пут. — Главное дело, чтоб зубы об эту веревку не сломать!

— Ничего, — буркнул дон Хорхе, отплеываясь, ибо уже приступил к делу, — зубы у меня, благодарение Богу, крепкие!

Данька еще прежде обратил внимание, что его невольный сотоварищ по несчастью то и дело, надо или не надо, произносит имя Божие. А ведь сказано в Писании: «Не поминай Господа всуе!» — к тому же отец Данькин говаривал, что лишь монашеской братии пристало то и дело божиться, ибо они и есть слуги Божии. Неужели этот иноземец — монах? В таком разе понятно, что он имел в виду, говоря о своих обетах. Ежели у православного белого духовенства есть дозволение на брак, то черное дозволения такого не имеет. А в иноземщине, сказывают, и вовсе никому из монашеского сословия не дозволяется ни жениться, ни любодействовать с бабами. А ведь эта, как ее, девка-спасительница хотела от пленников именно любодейства — это было понятно даже Даньке при всей его молодости. Хоть у него ни в жизнь не было ни с кем ничего такого, даже поцелуев, однако же земля слухом полнится, и кое-что об отношениях мужчин и женщин Данька успел узнать. Говорят, умелая и горячая бабенка может соблазнить любого мужика, будь он хоть трижды монах. Знать, эта девка была либо негорячая, либо неумелая. Данька брезгливо передернулся, вспомнив, как мерзко шарили ее руки по его телу.

— Не трепыхайтесь, умоляю вас, сеньор, — проворчал за его спиной дон Хорхе. — Победа уже близка... О нет, нет!..

В голосе его зазвучал такой ужас, что Данька резко обернулся. Дверца в балаган была распахнута, и в первых рассветных лучах, уже окрасивших небо, отчетливо вырисовывалась женская фигура. Она стояла, уперши руки в бока, и заглядывала в балаган.

Ноябрь 1727 года

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ ГЕРЦОГА ДЕ ЛИРИА
АРХИЕПИСКОПУ АМИДЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

«В Московии ничего не может быть интереснее новости о падении Меншикова, потому что этот князь был единственный человек, который поддерживал правила покойных царя и царицы. С его падением, нужно опасаться, москвиты захотят поставить свое правительство на старую ногу, увезут царя в Москву. Да, нужно опасаться, чтобы деньги Англии не заставили царя навсегда поселиться в прежней столице. Тогда я не дал бы и четырех плевков за наш с Московией союз, и пускай себе царь возится с персами и татарами: ведь государствам Европы он не сможет сделать ни добра, ни зла. Флот и торговля без присмотра погибнут, старые москвиты, считая за правило держаться как можно дальше от иностранцев, поселятся в Москве, и вследствие этого Московская монархия возвратится к своему прежнему варварству.

Несчастье Меншикова приписывают прежде всего интригам князей Куракина, Голицына и Долгоруких, открытых врагов Меншикова, которого власть достигла до такой высоты, что можно было опасаться всего от его честолюбия. Но прибавлю еще одно обстоятельство, которое, несомненно, содействовало падению временщика: это деньги Англии. Единственное средство отдалить Московию от Венского союза — это было погубить Меншикова, самого усердного союзника австрийского императора, и я не сомневаюсь, что для этого англичане употребили всевозможные усилия. Здесь говорят, находятся причины отрубить Меншикову десять голов, если бы он их имел! Мне было бы любопытно установить, кто именно являлся осуществителем подземных ков англичан относительно свер-

жения светлейшего князя, но пока затрудняюсь определить это лицо. Долгорукие ненавидят иностранцев; кроме того, среди них есть несколько человек, принявших истинную католическую веру, и они не станут якшаться с протестантами. Принцесса Елизавета, младшая дочь Петра Первого, настолько глупа и развратна, что от нее трудно ждать каких-то серьезных политических интриг. Вице-канцлер Остерман... в личности этого человека я еще не успел разобраться, хотя, говорят, он был истинным врагом Меншикова.

Впрочем, сейчас меня заботит другое: успею ли я до наступления нового года удостоиться аудиенции у молодого русского царя и как сложатся наши отношения?

В ожидании этого я свел знакомство с рекомендованным вами человеком — князем Василием Долгоруким. Их, впрочем, два — оба с теми же именами и фамилиями, различаются они лишь тем, что русские называют «отчеством». Я веду речь не о фельдмаршале Василии Васильевиче, а о Василии Лукиче.

Он только недавно вернулся из Парижа, где обрел людей, близких по духу: докторов богословия из Сорбонны, отцов-иезуитов. В частности, он сдружился с аббатом Жюбе. Сейчас аббат в Амстердаме — с княгиней Ириной Долгорукой, урожденной Голицыной, и ее детьми, в воспитатели которых определен. Ирина недавно приняла католическую веру, намеревалась перекрестить и детей своих. Уговаривает она сделать это и князя Василия, но тот пока не решается. Впрочем, не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет. Симпатии князя всецело с нами, хотя в России многие благосклонно внимают вестям о некоем новом ордене, который зародился в Англии, но расползлся по протестантским странам с проворством тараканихи, которая мечется туда-сюда, кругом рассыпая потомство. Этот

новый орден с поразительным упорством строит здание своего благополучия...

Вы понимаете, что я веду речь о наших врагах масонах, так называемых вольных каменщиках! Я не склонен недооценивать их опасность. Сила этого ордена в том, что он не вполне протестантский. Не католический, не протестантский, не православный. И в то же время войти в него может человек любой веры — кроме иудеев, понятное дело. Однако выкрестов не гонят. Масоны стоят над узкими религиозными рамками, они вещают о братстве всех людей, пришедших в их храм. По словам князя Долгорукого, его друг аббат Жюбе, как и все мы, иезуиты, очень опасается разрушающего влияния масонов на человеческое сознание. Он настоятельно просил Долгорукого внимательно присматриваться ко всем вновь прибывающим в столицу, ко всем представляемым ко двору иностранцам, чтобы вовремя разъяснить личность,сланную в Россию масонами. Что такие люди появятся здесь в самом скором времени, я тоже не сомневаюсь».

Август 1729 года

— Чего задумали? — спросила «русалка», словно не веря своим глазам. — Бежа-ать? От меня небось не убежите!

И, запорокинув голову, она разразилась таким злобным, таким страшным смехом, поистине нечеловеческим, более напоминающим уханье филина, что Данька понял, похолодев: да ведь девка безумна!

Впрочем, несмотря на убогость, девка мигом постигла намерения пленников и ринулась на них с такой яростью, что Данька даже зажмурился, не в силах ничего поделать, потому что руки его все еще оставались связаны.

Девка схватила его за грудки, оторвала от пола и принялась трясти так, что Данькина голова моталась, будто у тряпичной куклы, а зубы начали выбивать дробь. Потом девка с силой швырнула его на топчан. Дон Хорхе, придавленный Данькой, издал короткий мучительный стон и умолк, Данька рванулся было, но девка снова вцепилась в него и опять принялась трясти, выкрикивая что-то бессвязное, неразборчивое, и в этой непонятности ее коротких воплей заключалось самое страшное, она, чудилось, творила какие-то ведьмовские заклинания, а от несвежего духа, исходящего из ее рта, Даньку начало мутить, голова закружилась, сознание снова начало ускользать...

И вдруг девкины руки разжались — правда, что вдруг, Данька даже на ногах не устоял. Плюхнулся на пол, заелозил, пытаясь отползти подальше от мучительницы, а она словно и не замечала его жалких попыток к бегству! Она качалась, гнулась, силилась что-то оторвать от себя — что-то, запрыгнувшее на ее спину, рычащее, грызущее ее плечи...

Остроухая голова вырисовалась в рассветных лучах, и Данька, не веря глазам своим, прохрипел:

— Волчок! Родимый... неужто ты?! — И закричал яростно, безумно, мстительно, почти не владея собой: — Агу ее! Куси, Волчок, куси!

Понукать пса особенно не требовалось. Почуяв, что Данька в опасности, он бросился искать — и вот увидел его в руках какого-то чудища, более напоминающего росомаху, чем человека. Росомах Волчок ненавидел лютой ненавистью, поэтому он готов был перервать шею омерзительному существу.

Однако боль придала девке необыкновенную силу. Она откачнулась к стене и с силой ударилась об нее спиной, так что балаган ходуном заходил. Волчок соскочил с нее, забежал спереди и начал кидаться, хрипя и заходясь лаем. Девка била ногами куда попало, иногда по-

падая и по собаке. Дважды ей удалось отшвырнуть от себя Волчка, дважды он, подпрыгнув, крепко цапнул ее за ляжку. Наконец девка как-то изловчилась проскользнуть мимо пса и бросилась прочь от балагана, то вскрикивая, то завывая, будто раненое животное. Волчок, рыча, ринулся следом.

Данька сел, переводя дыхание. Отер пот со лба, кое-как пригладил волосы дрожащими руками — и только тут осознал, что они больше не связаны. Должно быть, Хорхе успел основательно подгрызть веревку, вот она и лопнула, покуда девка волтузила и швыряла туда-сюда своего беспомощного пленника.

Слава богу! Данька мигом распутал ноги и кинулся к топчану:

— Хорхе! Ты жив? Очнись!

В блеклом рассветном полусвете стало видно заросшее щетиной изможденное остроносое лицо. Веки медленно поднялись, открылись черные глаза. Данька даже попятился от этого взгляда, такая лютая в нем проблеснула ненависть. Ну будто кипучей смолой плеснули в лицо!

— Пошла вон, убери руки! — прохрипел Хорхе, и тут же сознание его прояснилось, прояснилось и лицо: — Великий Иисус! Это вы, сеньор Дени? А где та проклятая дьяволица?

— Ее прогнал мой пес, — невнятно выговорил Данька, руками и зубами трудясь над узлами, стянувшими руки и ноги Хорхе. Он старался изо всех сил, а перед взором почему-то светились какие-то черные солнца, и Данька с некоторым усилием сообразил, что это глаза загадочного чужеземца перед ним сияют. Это же надо! Только что лилась из них лютая ненависть, но через миг осветились они такой ласкою, что Даньку аж дрожь пробрала. Никто, ни матушка, ни отец, ни брат старший, ни сестрички не смотрели на него с такой любовью.

«Вот от таких глаз бабы небось мрут, как мухи! — подумалось Даньке. — Опасные у него для бабьих душ глаза! Ох, опасные!.. С того небось и присосалась к нему эта «русалка», что пиявица ненасытная. И не она первая, не она последняя, конечно! А он-то — монах! Не мужик...»

В это мгновение Даньке удалось одолеть последний узел, и дурные, ненужные мысли из головы выветрились. Вот теперь уж точно можно бежать. Даже нужно! И поскорей!

Он думал, что Хорхе вскочит с топчана, радуясь освобождению, однако тот слабо шевелил руками и ногами, словно, пока лежал привязанный, успел позабыть, как ими владеть.

— Вставай же! — прикрикнул Данька. — Не належался еще? Того гляди, эта ведьма от Волчка отвяжется. С нее небось станется! Вставай! Пошли!

Хорхе сделал отчаянное движение — и кое-как сверзился с топчана. Замер на полусогнутых ногах, шипя сквозь стиснутые зубы от боли.

«Ох, что ж я так? — с острым чувством раскаяния подумал Данька. — Он же раненый, еле живой!»

— Держись за меня, — пробормотал, закидывая себе на спину дрожащую руку Хорхе. — Ничего, как-нибудь. Лишь бы поскорее, поскорее!

Хорхе старался как мог, но толку от его стараний было чуть. Данька почти тащил его на спине, и, господи боже ж ты мой, до чего тяжелым оказался этот худощавый мужчина! Данька света белого не взвидел, но все-таки выволок Хорхе из балагана и побрел с ним куда глаза глядят.

Покосился на запавшие щеки и бледное под слоем грязи и щетины лицо своего спутника и подумал, что слабость Хорхе проистекает, конечно, не только от раны. Неведомо, что он ел все это время, и ел ли что-то вообще!

Ладно, коли он до сей поры не умер с голоду, надо быть, и еще продержится. Успеет поесть, когда угрозы погони не будет. Вдруг эта сучка поднимет тревогу на деревне? Сперва спасла, а теперь захочет отомстить неблагодарным спасенным — и выдаст их убийцам. Не хватало им еще явления Никодима Сажина и его мерзкого приспешника!

— Куда... куда мы идем? — выдохнул Хорхе, и Данька едва расслышал его слабый голос. От жалости снова сердце дрогнуло, и он приостановился, давая передышку измученному спутнику:

— Сам не знаю. Конек мой остался там, в конюшне, у тех душегубов. Теперь его нипочем не выцарапать. Пешком-то недалеко уйдем... Однако тут речка недалеко, я видел, пока шастал вокруг села. А на песке лодки видал. Рыбачьи лодки-то. Понимаешь, о чем речь? Возьмем одну — и даже грести не надобно будет, течение само нас до Москвы донесет.

— Ты тоже идешь в Москву? — прошелестел Хорхе.

— А куда же? Одна заступа у народа православного, одна надёжа — царь-государь. Вот и я дойду до него, стану правды просить, а для убийц — самой лютой кары. Нынче, слыхал я, в Москву прибыл царь. Значит, и мне в Москву надо.

— Ты что, накоротке с его царским величеством? — простонал Хорхе.

— Как это?

— Ну, запросто просить подмоги решил, будто он твой должник!

Почудилось или в голосе Хорхе звякнула смешинка? Ах ты, леший, он и впрямь насмехается! Ну, коли у тебя есть силы смеяться, так небось хватит сил и ноги самостоятельно передвигать!

Данька в сердцах вывернулся из-под тяжело навалившегося на него раненого, но это вышло себе дороже: Хорхе не удержался на ногах и упал, так что при-

шлось помогать ему подняться и чуть ли не заново учить делать слабые шажки. Пока раненый кое-как разошелся, Данька уже чувствовал себя не сильнее приклепнутого комара.

«Дойдем ли до реки, пока не хватились? — мучила мысль. — Надо бы скорей ногами шевелить, да где там!»

Но вот впереди, под бережком, заблестело холодным серо-розовым шелком. Ох, красота, чудо из чудес — река на рассвете, особенно когда ни ветерка, когда заросли береговые спокойно отражаются в неколебимой зеркальной глади, не искаженной ни морщинкой, ни рябинкой. Немыслимо смотреть на эту сладостную дремоту! Проплывет медленно-медленно розовое облако, и не сразу сообразишь, то ли видишь отражение небесного странника, то ли зришь некое подводное движение.

И вдруг вспенилась гладь, благостная тишь рассветная нарушилась лаем пса, бегущего кромкой берега, расшвыривая брызги.

— Волчок! — радостно закричал Данька, у которого все это время сжималось сердце от неизвестности судьбы Волчка, от страха за него. Этот пес — все, что у него теперь осталось. Ведь он Волчка помнит еще крошечным щеночком. Охотничья сучка Найда, принесла его от лесного волка. Заблудилась однажды в болотине, вернулась аж спустя месяц, отец ее и не чаял больше увидеть. Нет, вернулась! А вскоре смотрят — сучка-то брюхатая. Двое щенят родились мертвыми, да и сама Найда померла, бедолага, давая жизнь третьему. Даньке пришлось выкармливать бедолагу козьим молочком, нянчить, словно малое несмышленное дитяtko. Зато взамен Данька получил такого друга, такого преданного друга и защитника...

Пес прыгал вокруг, рискуя свалить двух ослабевших людей.

— Волчок, Волчара! — растроганно бормотал Данька, не уворачиваясь от его упоенного лизания. Хорхе тоже перепало собачьих ласк, и он тоже не отворачивался. — Куда ж ты чертову девку девал? Загрыз? Неужто загрыз?

Волчок не отвечал, только лаял да снова начинал лизаться.

«Хорошо бы и впрямь загрыз», — с надеждой подумал Данька.

— Вижу лодку! — прохрипел над ухом Хорхе. — Вон там!

Данька тоже увидел челночок. Ох, грех, конечно, небось обездолят они кого-то кражей! Но ведь им надо жизнь спасти... А все равно грех!

Совестливый Данька покосился на Хорхе — все ж монах, у них с этим делом, с грехами-то, суд короткий. Но черноокий иноземец смотрел на лодку с истинным вожделением. «А что ж, не зря говорят: не согрешишь — не покаешься! — мысленно ухмыльнулся Данька. — Деваться-то некуда! Небось он сейчас все свои монашьи привычки в карман запрятал. Ну и ладно».

Данька усадил Хорхе на бережок и пошел сталкивать лодку в воду. С ужасом обернулся, услышав лай Волчка: а вдруг откуда ни возьмись «русалка» объявилась?!

Но никакой русалки там не было, только водяной. Водяного самозабвенно изображал Хорхе: он заполз в реку, ожесточенно плескал на себя водой, тер заскорузлое тело, ерошил мокрые волосы... Волчок, конечно, не выдержал, принял это за игру, кинулся взбивать тучу брызг!

Словом, к тому времени, когда Данька столкнул лодку в воду и отыскал припрятанные в ближних зарослях весла (счастье, что этот рыбачок жил по закону: «Авось добра не тронут, небось не украдут!»), оба были мокрехоньки, что пес, что иноземец. Хорхе теперь меньше напоминал оживший труп, и Данька, помогая ему за-

браться в лодку, усаживая на корме Волчка, берясь за весла и, наконец, выправляясь по течению, непрерывно ощущал на себе взгляд его усталых, но благодарных, ласковых, сияющих глаз. И думал, думал, как прежде: «Не глаза, а погибель. Девичья погибель!»

Апрель 1728 года

— Сторонись! Зашибу! Сторонись, сволочи!

Этот ошалелый мальчишеский визг вздымался над полем и заглушал все звуки, сопровождавшие охоту: крики егерей, горячивших усталых от сегодняшних беспрестанных гонок коней и подгонявших собак, которые осатанели от близкой добычи; возбужденные вопли охотников, всячески старавшихся опередить на подступах к ней другого... Бедная лисица была одна на всех — на свору собак, свору коней, свору людей, — но, чудилось, отчаянней, горячей всех желал настичнуть ее юнец в черном полукафтанчике нараспашку, из-под которого был виден темно-зеленый шелковый камзол с широким поясом. Полукафтан надувался над его спиной, словно парус; шапка давно слетела, короткие черные волосы стояли дыбом, взвихренные ветром; глаза, полные слез, вышибленных тем же ветром, чудилось, остекленели от напряжения, зубы стиснулись, и меж них рвался этот не то визг, не то вой:

— Сторонись! Зашибу!

Это не просто мальчишка двенадцати лет, а не кто иной, как родной внук ломателя, ниспровергателя и сокрушителя былой России, императора Петра Великого, и сын злосчастливого царевича Алексея Петровича, кончившего жизнь свою в застенке. Стало быть, государь император, самодержец всероссийский, царь Петр Второй Алексеевич.

Только двое осмеливались скакать почти бок о бок с государем: рыжеволосая, с шальным взором всадница

в травянисто-зеленой суконной, по настоящей аглицкой моде пошитой амазонке и щеголеватый молодец с надменным выражением безупречно красивого голубоглазого лица.

Всадницей была Елизавета, родная дочь Петра Первого, — Елисавет, как ее предпочитали называть близкие люди. Все в окружении царя знали, что мальчик совершенно без ума от своей озорной, насмешливой восемнадцатилетней тетушки, она его первая любовь и первая страсть, ради нее он на все готов и беспрестанно домогается от нее шаловливых поцелуйчиков и позволения пожать нежную пухленькую ручку, а Елисавет то поглядит ласково, то не поглядит, держит государя императора на коротком поводу, словно песика, но сорваться у песика нет ни охоты, ни возможности.

Рядом с великой княжной скакал любимец государев, а по-иностранному выражаясь, фаворит, молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий — повеса, щеголь, гуляка и распутник, каких свет белый не видывал, но, несмотря на это, а может, именно благодаря этому, сумевший занять прочное место в сердце того одинокого, всеми позабытого мальчишки, каким был некогда император Петр Второй Алексеевич. Рано осиротев, ребенок находился в таком пренебрежении у бабушки-государя Петра Великого, что для него не нашлось лучших воспитателей, чем вдова какого-то портного и вдова какого-то трактирщика, о коих знающие люди отзывались как о «женщинах неважной кондиции». Танцмейстер Норман учил царевича чтению, письму, а также поведал кое-какие первоначальные сведения о морском деле — ибо сам служил прежде во флоте. Мелькали на сем почетном месте некто Маврин, бывший при дворе пажом, затем камер-юнкером, а еще венгерец Зейкин. С миру по нитке — голому рубашка, с бору по сосенке — царевичу учителя! И только уж потом, позже, после смерти Петра Первого, к его внуку был назна-

чен воспитателем обрусевший немец Андрей Иванович Остерман.

Остерман теперь сделался гофмейстером, вице-канцлером и незаменимым во всем государстве человеком: во всяком случае, таковым его называли все как один иностранные посланники, уверяя, что без сего сухощавого, носатого человека вся Российская империя всенепременно и давно развалилась бы. Очень может быть, они были в чем-то и правы, потому что даже сейчас Остерман сидел сиднем в Кремле и занимался государственными делами — к которым, как ни бился, как ни старался, не в силах был приохотить властителя огромной страны России. А весь двор, все министры, члены Верховного совета, высшие армейские чины, а также осчастливленные царским расположением иностранцы, как ополоумевшие, гонялись за какой-то несчастной лисицей, бросив все дела и заботы, присоединившись к царскому охотничьему поезду.

Со стороны вид этого поезда был внушительен: более полутысячи повозок, экипажей, карет! Каждый вельможа имел при себе собственную кухню и прислугу, вдобавок ехали купцы, зашибавшие нехилую копейку на торговле съестными припасами и напитками, заламывая за все это несусветные цены. Переезжали из одной волости в другую, останавливались, где понравится, ставили шатры, словно какие-нибудь восточные царьки-кочевники, раскидывали скатерти, уставляли их яствами и напитками. В это время забывали все на свете, кроме государева удовольствия...

Но вернемся к молодому Долгорукому. Когда будущий император Петр Второй был всего лишь десятилетним приживалом при дворе своего взбалмошного деда, тогда князя Ивана назначили при нем гоф-юнкером. Было ему семнадцать лет, но, несмотря на редкостную красоту и бесшабашность, а может быть, именно благодаря им, Долгорукий был существом привязчивым

и вполне способным на искреннюю дружбу. То ли жалко стало ему великого князя, то ли самозабвенная, поистине братская привязанность мальчика тронула его сердце, только служил он забытому наследнику верно. И, став государем, Петр не забыл первого своего друга. Молодой Долгорукий, признанный фаворит, обер-камергер, майор гвардии Преображенского полка, кавалер орденов Александра Невского и Андрея Первозванного, жизнь вел рассеянную и превеселую, ну а женщины падали к ногам его, словно переспелые яблоки, несмотря на то что держался Иван Алексеевич с прекрасным полом совершенно беззастенчиво. Похождения фаворита нисколько не смущали царя, который, несмотря на юность, мог уже во многом дать фору своему повеселенному наставнику. Что государь, что его обер-камергер исповедовали закон: «Быль молодцу не укор!» — подчас делясь не только фривольными воспоминаниями о своих любовницах, но и самими этими любовницами.

Казалось, согласие их нерушимо... особенно сейчас, в самозабвенном пылу охотничьем. Однако черноволосяый, черноглазый, юношески-изящный человек с лицом того болезненного, оливково-бледного цвета, который приобретают смуглые лица южан в причудливом климате России, чудилось, видел некие незримые нити, опутывавшие трех всадников: императора, его молоденькую тетку и красавца обер-камергера.

Этот человек скакал невдалеке от них, с явным усилием сдерживая великолепного, поджарого вороного коня, которому было пустым делом обставить на скаку коренастых, мохноногих русских лошадушек. Андалузский скакун, привезенный в Россию с величайшим трудом, являлся предметом непрестанной гордости и даже спеси для своего хозяина — Иакова де Лириа, испанского посланника в России.

Привычно правя конем, он умудрялся ловить каждый взгляд, которым обменивались за спиной государя

его фаворит и Елизавета, и размышлял, в самом ли деле юный император так увлечен охотой, как старается это выказать. Неужели минула бесследно, неужто угасла та вспышка, которую приметил герцог несколько дней назад, на балу, устроенном в Грановитой палате и посвященном рождению в Голштинии принца Петра-Ульриха, сына сестры Елизаветы, Анны Петровны?

Тот бал юный император открыл в паре с теткой, что было против правил. По-хорошему, рядом с ним следовало идти царевой сестре Наталье Алексеевне, однако великая княжна сказала нынче больной и на бале не появилась. Конечно, она была слаба здоровьем, но то, что в данном случае болезнь — всего лишь отговорка, сразу стало ясно всем: ведь не далее как вчера великая княжна Наталья всюю веселилась на приеме у герцогини Курляндской. Просто она недолюбливала цареву тетушку за власть, которую эта тетушка приобрела над императором, — вот и пренебрегла своими обязанностями.

Ну что же, на пользу государю ее маневр не пошел, ибо он начал с того, что сряду протанцевал с Елизаветой первые три контрданса. Длинноногий, длиннорукий, нескладный, слишком высокий и полный для своего возраста мальчик-царь взирал на свою очаровательную тетку с таким выражением обычно пасмурных, напряженных глаз, что самый воздух меж ними, чудилось, раскалился от невысказанной юношеской страсти. Но потом царь ушел ужинать в другую комнату. Ни Елизавета, ни фаворит не последовали за ним. Снова заиграла музыка! Теперь великая княжна танцевала с Иваном Долгоруким, и только слепой не заметил бы, как волновалась ее грудь, как туманились изумительные синие глаза, какую неприкрытую чувственность излучала ее роскошная фигура. Молодой Долгорукий тоже выглядел так, словно готов тут же, в присутствии множества гостей и самого императора, опрокинуть свою визави на